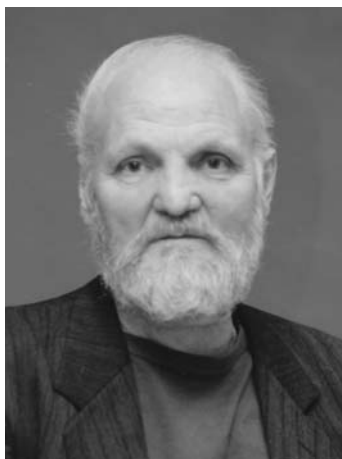


ВЛАДИМИР КРУПИН



ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

РАССКАЗЫ

И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в прошлом все то, что его готовило. Жил я среди грешных людей, сам грешил да еще и себя оправдывал: все такие, даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что грешнее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был грешнее Евы.

Все теперешние мои вечера соединились в один вечер, в вечер моей жизни. Давай, брат, попробуем, пока есть силенки, отвязаться от того, что вспоминается внезапно или помнится постоянно, то есть уже мешает. Пора свой дом подметать. А сколько прожито, сколько пережито! Как пелось в моряцкой песне: “Эх, сколько видано, эх, перевидано, после плаванья в тихой гавани вспомнить будет о чем”. Но не получилось в старости тихой гавани, да и перевиданное пригодится ли кому? Это же только мечтается, что чужое знание пригодится в “быстротекущей жизни”. Каждый себе свои набивает шишки.

И посему я не о личном, я о России.

КРУПИН Владимир Николаевич родился в 1941 году в Вятской земле. Служил в Советской Армии, окончил Московский областной пединститут. Автор повестей “Живая вода”, “Сороковой день”, “Прощай, Россия, встретимся в раю”, “Люби меня, как я тебя”, “От рубля и выше”, “Как только, так сразу”, “Слава Богу за всё”, романа “Спасение погибших”, многих рассказов, путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе. Автор “Православной азбуки”, “Детского церковного календаря”, книги “Русские святые”. В “Нашем современнике” печатается с 1972 года (отрывки из первой книги “Зёрна”). Живет в Москве.

ВРЕМЯ ГОРЯЩЕЙ СПИЧКИ

В отрочестве и юности бывают такие безотрадные дни, когда хочется умереть. Тебя никто не понимает, не любит, а я-то такой хороший, вот умру, вот будете знать, кого потеряли. Вот уж поплачете, а я, гордый и красивый, поплыву в последней жизненной лодке, в деревянном гробу, в сторону заката.

Нет, говорю я сейчас себе, тому давнему юноше, надо жить долго. Долго, чтобы понять, что жизнь мимолетна и что сравнение ее с горящей спичкой рядом с сиянием солнца очень верное. Время горящей спички — вот наша жизнь, а солнце — это вечность, которая суждена нашей душе. Нынче эта солнечная вечность заявила о себе такой жарой, таким пожигающим все живое зноем, что стало всем понятно, от президентов до сторожей: мы ничто перед волей Божией. И хотя ученые стали торопливо валить все на аномальные явления, хотя политики стали изображать заботу о людях и обещать много чего, жара воцарилась как справедливое наказание за наши грехи, и как раз в дни ее владычества я и приехал в родное вятское село, называемое теперь поселком.

В моей родине есть такая сердечная магнитность, что не надо и причин, чтобы ехать сюда. Но нынче была еще и особая причина — исполнялось ровно пятьдесят лет с той поры, как меня увезли отсюда. Из села, самого лучшего на всем белом свете. Да, поверьте, ибо за полвека я успел походить, поездить, поколесить, полетать, поплавать по пространствам планеты и мог все со всем сравнивать.

Полвека. Никто тогда не спросил, хочу ли я уезжать, меня просто призвали в славные ряды защитников Отечества. Наголо остригли, привезли на сборный пункт, а там — шагом марш в товарный вагон.

И — жизнь прошла. Видимо, и не могла пройти иначе. Мы, в отличие от нынешней молодежи, не выбирали судьбу, она выбирала нас. Мы не искали в жизни выгоды, жили по потребностям Отечества. Так вот, полвека. И отлично осознаю, что прожил бы их как-то иначе, если бы все эти годы не жила в моем сердце Кильмезь. Ее красота, ее люди, ее труды, ее уроки. Здесь была прожита первая полнота чувств, и такая полнота, силы которой потом я уже не испытал. Эти влюбленности до того, что сердце колотилось в горле, эти обиды до горьких одиноких слез, это ликование совместных трудов на сенокосе, на воскресниках, эти восторги летних купаний и зимних полетов на лыжах с крутых гор, что в московской жизни могло все это заменить?

Вообще, в мире ничего не меняется со дня сотворения его. Человек тот же, как и прародитель Адам, да и истории у человечества нет, только одно — мы или приближаемся к Богу, или удаляемся от Него. В годы, когда нас насильно удаляли от Бога, даже казалось, что мы вырастаем без Него, но кто же спас Россию, как не Господь? Других защитников у России нет. Кто нас хранил в дни войны, голода, лишений, сиротства?

В то раннее утро перед отправкой в армию, когда я пошел прощаться с селом, было попрохладнее, но все было то же: земля, река, небо, наше кладбище, на котором уже тогда были могилки дедушки и бабушки. Прошел по тем улицам, где жили друзья и подруги. Их уже и не было в селе, все где-то или учились, или работали. Бесхозно и сиротливо белела около Дома культуры, оккупировавшего здание церкви, танцплощадка и летний кинотеатр. Поднимая пыль, растянувшись на сотни метров, брело стадо коров. Из репродуктора на столбе, напротив библиотеки, передавалась бодрая утренняя зарядка, и, будто под ее команду, энергично хлопал длинный пастушеский бич.

Обветшала и обречена на снос библиотека, обрушились школьные здания, не идет утром и вечером по улице такое огромное стадо, сгорели и исчезли многие дома, знакомые с детства. Но память моя, как вообще наша память, сильнее пожаров и тления. Нет дома на углу Троицкой и Школьной, а я помню, как он горел, как мы его тушили. Но если исчезали дома, не умирала Кильмезь, целые улицы и переулки появлялись, например, на месте аэродрома и кирпичного завода и на полях колхоза “Коммунар” в сто-

рону Троицкого. Так что я много счастливее тех, кто приезжает к местам детства, на которых пустыри и следы пожаров.

За ночь затянуло дымом небо, но это даже принесло облегчение, ибо солнечные палящие лучи теряли в дымных облаках свою жгучесть. Я пришел на кладбище, где ждали меня милые мои дедушка и бабушка. Могилки их заросли хвощом, уже пожелтевшим, золотистым, и еще изумрудной красоты добавляли иголки, осыпавшиеся с широких елей. Вот где отраднo думалось о краткости жизни. Не дивно ли — мгновение назад стоял над свежевырытыми могилами, а вот, уже старик, и сам думаю о своей.

Признаюсь, были в жизни моменты, когда я завидовал умершим, и отлично понимаю отца, сказавшего перед кончиной: “Слава Богу, умираю, не увижу, до какого срама Россия дойдет. А уж до какого дошла”. Теперь, отец, она еще до большего дошла. Но жива. И жить будет. Эта уверенность крепнет во мне. Еще бы: я так много жил, помню Отечественную войну, прожил фактически несколько эпох, смену правительств, идеологий, денежных систем, для любой страны такие встряски были бы губительны, Россия выжила. А ведь всё в мире против России. Ее не смогли победить в войну, когда не только Германия, вся Европа убивала нас. Как убивает и сейчас. Тогда убивали тело, сейчас душу. Сейчас тоже идет Отечественная война, война света с тьмой. Все мракобесие мира накинудь на Россию, навязывает ей дикие нормы поведения, развращает молодежь, учит цинизму, восстанавливает детей против родителей, опошляет чистоту отношений, издевается над всем святым...

Я пошел к реке детства. Заставлял себя думать о хорошем. Здесь была кузница, там, направо, в логе, чистейшие холодные родники, тут, у моста, лесопилка, дальше по берегу — опять родники. И мы пили из каждого. Это же на всю жизнь. Сколько красной и черной смородины, ежевики. А за рекой нескончаемые поляны клубники. А в сосновых лесах рыжики, земляника! Мера радостей жизни была мне отпущена преизлишняя. Но не только же Божии дары природы мы вспоминаем из безоблачной поры детства. Ведь главным в родине была та любовь, в которой мы выросли. И тот труд, который выращивал нас. Мы рвались к работе, мы с детства старались ухватиться за взрослые инструменты. И позднее, когда приезжали в отпуск из армии и на студенческие каникулы, конечно, прежде всего, мы старались чем-то помочь. Труд был радостью.

В одном месте решил спрямить дорогу, я помнил, что была тропинка меж огородов. Во дворе играли дети, крутилась лохматая собака и сидела старуха, их наблюдавшая. Я поздоровался.

— Могу тут я пройти напрямую?

— Можно, можно, как не можно.

— А ваша собачка не тронет?

— Да что ты, что ты, она у нас такая ласкуша.

Я и пошел напрямую. И тут собака кинулась на меня, да так яростно и злобно захрипела, и залаяла, и прыгала, что я стал отступать и нагибался, притворяясь, что хватаю с земли камень или палку. Дети подбежали к собаке, стали ее отгаскивать, старуха стала раскачиваться на табурете, чтобы встать. Наконец, собака умолкла.

— Хороша ласкуша, — сказал я, — чуть не сожрала.

— Нет-нет, она очень добрая, — заступилась за собаку старуха, — да ведь у ей сейчас ребенки. А так-то наш не наш, все идут.

Пошел я дальше, убеждаясь в том, что не все еще собаки меня знают.

Жара после обеда превратилась в духоту. Я много ездил по странам Африки и Ближнего Востока, а там такие градусы — норма, поэтому российскую жару, тем более на родине, переносил легко. Шел и вспоминал святителя Иоанна Златоуста, поставившего в прямую зависимость погоду и нравственное состояние людей. Текла израильская земля “молоком и медом”, стала безжизненной иудейской пустыней. “Преложил Господь землю плодородною в сланость от злобы живущих на ней”, как говорит Писание. Так может случиться и с нами, если... Если что? Если не прекратится этот накат цинизма, похабного юмора, вся эта бесовщина ненависти к России — самой

целомудренной стране мира. Отчего погибли Содом и Гоморра, Карфаген, Помпеи? От разврата жителей. Далеко ли нам до них?

На аллее, близ памятника солдату, сидели печальные люди, пившие лимонад. Увидев меня, повеселели и сообщили, что обманывают милицию, которая не дает распивать пиво в общественных местах, и они переливают пиво в замаскированную под лимонад емкость. Почему-то эти граждане полагают, что деньги в моих карманах также и их достояние. Но строго воспитанный отцом Александром, я сказал, что еду им куплю, а об остальном не мечтайте. Хотя магазин, куда со мной пошел небритый человек средних лет, как раз назывался “Мечта”. Человек сказал, что у него есть стихи о России. Я попросил прочитать. Он стеснялся. Тогда я выдрал листок из блокнота и попросил переписать хотя бы одно стихотворение. “А я пока куплю чего поесть, гонорар такой тебе”. Вскоре мы обменялись. Я ему еду, он стихи. Дома их прочел.

“Эх, Россия-матушка, чего ты только видела. И, наверно, моря три горьких слез ты вылила. Эх, Россия-матушка, где же царь твой батюшка? Что стоишь-качаешься, пьяная, не каешься? Эх, Россия-матушка, похмельная головушка, протрезвись, взгляни кругом, чья же это кровушка? Не царя ли твоего, не за твою ли братию, кровь же к Богу вопиет, ты нажила проклятие. И пришла, Россия, ты к последнему порогу. С показаньем припади на колени к Богу. В чем соборно ты клялась, в том соборно кайся, и на бой последний ты встань и поднимайся”.

Пошел я его похвалить, но он уже, выменяв еду на спиртное, меня не узнал, вновь прося сумму на дополнительную поправку здоровья.

Жена звонила и говорила, что в Москве ужасы жары доходят до каждой квартиры. Не спасают и кондиционеры, так как прохлада из них полна запахов гари. “Да еще этот асфальт”. Да уж, асфальт. Думаю, что все наши несчастья от этого асфальта. Родина его — Мертвое море, оно так и называлось, Асфальтовым. Именно оно погребло развратников Содома и Гоморры. В словаре Даля приводится московское название асфальта — “жидовская мостовая”. Асфальтом заливали тела покойников и приспособились заливать землю. А земля никогда не умирает, и под асфальтом жива. Все мы видели, как весной появляются трещины на асфальте, это растения пробивают крышку своего надгробия. И трещины заливают и новым асфальтом закатывают, и вроде побеждают растительную жизнь, но все равно есть ощущение внутренней, загнанной в темницу жизни. Асфальт, его испарения, вызывают раковые заболевания. А в жару мы в городе только ими и дышим. А если бы снять корку асфальта с земли, как бы она вздохнула, как благодаря нас чистым воздухом и прохладой.

Но разве не так и Россия? С ее единственностью, неповторимостью, она убивается, закатывается асфальтом чужебесия, иноземных нравов. Зачем нам их навязывают? Какая же это мировая цивилизация, которая одобряет гомосексуализм? Это-то и есть содомия, названная так по имени города Содома, провалившийся в Мертвое море.

За поселком, на проводах, я увидел стаи стрижей. Это редчайшее зрелище — сидящие, а не летающие стрижи. У нас их всегда было много. Небо моего детства покрыто крестиками стрижей. Это не ласточки, хотя они и похожи, и не ласточки-береговушки, которые исверлили все обрывы по берегам рек, это именно стрижи. Ловкие, легкие, красивые. Они не могут взлететь с земли, у них большой размах крыльшек. Однажды в детстве я шел в поле и увидел, что стрижи кричат и летают стаями над одним местом. Я увидел птенца, уже большенького, но беспомощного. Он пищал и крутился на одном месте. Рядом был сарай. Я сразу решил, что надо птенца поднять на высоту, а там он взлетит. Но как? Поймать-то я его поймал и под рубашку посадил, но стрижу был непонятен мой порыв, и они кричали и пикировали. Да и птенец больно скребся под рубашкой. Я лез по углу сарая, боялся и, подбадривая себя, разговаривал с птенцом: “Хочешь жить, а? Хочешь, конечно. А как же?” Птенец царапался, подтверждая волю к жизни. Стрижи меня атаковали и с размаху тюкали в голову. Долезши до крыши, я ухватился одной рукой за ее край, другой вытащил пищущего и бьющегося в ру-

ках птенца и посадил на замшелую поверхность. Потом сорвался на землю, вскочил и отбежал. Стрижи поняли мою им помощь и больше не напали. А птенец вскоре полетел вместе со стаей.

Конечно, эти, сегодняшние, стрижи, были потомками именно того стрижонка. Весело и заслуженно я поздравился с ними. “Помните своего предка? А тут и мои тоже”.

Я все тот же, родина моя. Тот же босоногий мальчишка, любящий тебя уже только за то, что здесь появился на свет Божий. Так мне было суждено. Это только подумать: ни за что, просто по милости Божией мне была подарена такая родина. Такая река, такие леса и луга, такие люди. И за это счастье никогда не устану благодарить Бога.

ПЛАТОН И ГАЛАКТИОН

Жили-были два моих предка, мои пра-пра-пра и так далее дедушки. Платон и Галактион. Без них бы и меня не было, и детей бы моих, и детей моих детей тоже бы не было. А при каком царе они жили, а скорее, при царице, до того я не докопался. Да это и не суть важно. Знаю, что дед Платон был православный, а дед Галактион — старовер. Но в семейных преданиях об их разногласиях в вопросах веры не говорится. Вот только говорили, что Галактион иногда задавался, что получше Платона знает Священное Писание, ну как же — старовер, а староверы — большие начетники. У них знанию Писания учиться надо. Но были прапрадедушки мои соседями, жили дружно и от души христосовались в светлый праздник Пасхи. Но вот что касается обстоятельств самой жизни, тут разногласия были существенные.

Они не сходились в том, каким образом надо укреплять жизненную силу. Вопрос для любого человека важный, но для крестьянина наиважнейший. Трудности крестьянской жизни может вынести сильный и обязательно здоровый человек. Болезнь для крестьянина хуже смерти. Мертвого кормить не надо, только поминай, а за больным уход нужен. Деды мои славились здоровьем, носили на плечах не только баранов, но и телят, и жеребят, пахали по десятине, по полторы десятины выкашивали, по два стога в день сметывали. Если читателям это ничего не говорит, скажу, что десятина больше гектара. Да что говорить, вскопайте без отдыха хотя бы три-четыре десятиметровых грядки, притащите домой враз десять арбузов или мешок картошки. А жеребенок потяжелел и того и другого. Однажды, говорит семейное предание, они на себе принесли для мельницы два каменных жернова. А жернова были пудов по двадцать. То есть больше трех центнеров. Центнер — сто килограммов. Да, дожил русский писатель до необходимости посягать читателям, что такое десятина, верста, пуд, сажень, грош, золотник, семитка, гривеник. Неужели булькнут в черные дыры забвения и хомуты, и чересседельники, и подпруги, снопы, серпы... все, что связано с трудом на пашне-кормилице? Что говорить, не живать уже нам той могучей, спокойной, размеренной русской жизнью, гостившей многие века на русской земле. Но хотя бы свершим благодарный ей поклон.

Попытаемся представить тех былинных богатырей, которыми были наши предки. Да, богатыри, но одновременно и обычные люди. Как мои дедушки. Да, богатыри не мы.

Конечно, Платон и Галактион, во-первых, дышали не нынешним воздухом, искалеченным не только отходами всяких производств, химией, выхлопами машин, но и забитым радио- и электро- и эсэмэсволнами. Во-вторых, питание. Не нынешние добавки да суррогаты да вода, убитая хлоркой, а продукт был все естественный: вода из родника, молоко от своей коровы, мед, мясо, овощи, — все свое. И носили не импортную дрянь-синтетику, а лен. А зимой шубы из овчины, которую сами выделывали.

Так в чем же у моих дедов были разногласия? Именно в вопросе поддержания здоровья. Платон закалял его баней, а Галактион купанием в про-

руби. А если наступали такие морозы, что даже и проруби перемерзли, то просто выходил на снег. Снегом и натирался. А когда мороз за сорок и под пятьдесят, то снег как крупный песок. Им Галактион себя так надраивал, таким наждаком, такой теркой, что издали казался факелом на снегу. Так пламенела кожа. Шел домой, отдыхал и выпивал в одиночку полудеверный самовар. Конечно, потом ему гнуть дубовые полозья для саней было в леготку.

Но ведь не менее размалинивался от банного жара и Платон. До того натапливал свою баню-каменку, что войти в нее было страшно — уши горели, хотелось присесть. А когда плескал полным ковшом на камни, вода мгновенно превращалась в пар и так взрывалась, что отдирало примерзшую дверь. Перерывов Платон не делал, парился и поддавал без передышки. И обливался чуть ли не кипятком. Прибрелал домой, долго лежал на лавке, потом, как и Галактион, выпивал в одиночку такой же полудеверный самовар. Вместе покупали. И наутро ворочал в кузнице раскаленное железо.

Так вот, они всегда спорили, чья система лучше: ледяная, Галактиона, или жаровая, Платона. Получалось, что обе хороши. Ведь и у того и у другого силы были, как говорится, колесные. У того и у другого, несмотря на то, что им за пятьдесят, рождались детишки. Да и детишки все крепенькие. Уже Галактионовы выбегали в одних порточках с отцом на снег, а Платоновы смело, хотя пока и ненадолго, заскакивали в баню.

Вот они сидят и дебатируют. Если это лето, на завалинке, если зима — за самоваром у того или у другого.

— Я только зимой и живу, — говорит Галактион, — чаю мне не наливай, только кипяточку да варенье. Очень я маюсь в жару, кое да как лето переживаю. Ну, хожу к роднику, в него залезаю, хоть отдышусь. Сижу в ледяной воде, чую — холод к сердцу идет. Вот идет, вот холодит, во-от оно! Вылезу и дальше живу. А после обеда подремать хожу в погреб.

— Это мне не понять, — отвечает Платон. — Клин клином вышибают, жару жарой. Как ни кипятись солнышко, мою каменку ему не догнать. Так баню раскочегарю, так разогреюсь, что мне потом никакая Африка ни почем. Тебе, брат, в тундре надо жить.

— Оно бы и неплохо. А тебе в пустыне бегать без штанов. Эх, брат, наживешь ты себе с этой баней хворь. Вся тварь в тепле размножается, а в холоде перемерзает. Заразы в холоде нет. К примеру, как с тараканами покончить? Картошку в подполье закроешь старыми тулупами и — двери настежь. И все! Чисто. Ты ж тоже этим способом пользуешься. А потеплеет и — поползли простуды, змеи и холеры и всякие мокрицы. А уж я не закисну. Разве я против жара? Но у меня жар рождается от холода. Изнутри. Разница? А ты себя греешь сверху, а что внутри?

— Насквозь пробирает. Как железо в горне.

— Платон, тебе же не засов из себя ковать. — Галактион вставал и задавал свой всегдашний вопрос: — Како чтеши Писание? “Оснежатся вершины в Селмоне”! А о Спасителе? “Были ризы Его блещахуся, яко снег”. Яко снег! А Исайя? “Будут грехи ваши багряны, как снег убелю”. Вот! В жарких странах жил, а снег знал. Духом провидел. Вот где разумение! А псаломец Давид? Вникни! “Господь дает снег, яко волну”.

Платону и возразить нечего. Нет в Писании защиты его бани. Ни до чего не доспорятся, разойдутся. Зимой Галактионовы дети, и уже и внуки, лед на речке колот, запасают, а летом Платоновы наследники веники ломают. Отцы их и деды могучей своей работой людей изумляют. А по субботам взрывы пара, удары веников и довольные крики несутся из бани Платона, а по утрам, и в снег, и в мороз, и в метель идет босой Галактион на завьюженный огород и погружается в снежные перины. А за ним сыплются полуголье наследнички. Он их тешил тем, что брал подмышки и бросал. Кого вдаль, кого вверх. Тот, кто летел по горизонтали, хвалился расстоянием, на которое был заброшен, а тот, кого Галактион подкидывал, хвалился продолжительностью времени в полете. Такие потехи были безопасны, ибо приземлялись они на снежную перину. Снега в вятских пределах были щедрыми, избы заносило по верхние наличники, как говорили, “по самые брови”.

И кто же в сей истории оказался прав? А никто. А как? А так: Платон был в городе и купил там книгу. После ужина семейство уселось слушать чтение. Платон, перекрестясь, прочел название: “Описание трудов и подвигов святого Первозванного Всехвального апостола Андрея”. Очень трогательно было описано, почему святой апостол назван Первозванным, и как он шел с именем Христа в северные, то есть в наши, земли. Прошел Херсонес, в коем впоследствии окрестился великий князь Киевский Владимир. Водрузил апостол на кручах Днепровских Крест. Был и в Новгороде. При этом известии дед Платон от себя сообщил, что предки наши пришли в Вятку именно из новгородских пределов.

— Так что от кого мы получили крещение? А? От ученика самого Христа, Господа Бога нашего!

Добрался дед Платон до описания апостолом славянских обычаев. И до того места, как тот был изумлен банями. Тут дед Платон вскочил и побежал к соседу.

Галактион пригласил гостя к столу, но тот, вздымая книгу, объявил, что прочтет, что говорил апостол Андрей, брат первоверховного апостола Петра, о славянах.

— Ну-ко, ну-ко, возгласи.

Платон, разогнув книгу и найдя нужное место, возвысил голос:

“...и зело раскалив бани, они бьют себя прутьями до умертвия и лежат безгласно”. А? Галактион! Слушай апостола, слушай!

Галактион убедился в точности прочитанного, но прочел и дальше:

— “Потом же оболъют себя ледяною водою и тако оживут”. Тако оживут! — возгласил он. — Платоша! Тако оживут! От ледяной воды! Тако!

— Но вначале же баня! Како чтеши? Как же ты без бани? Как же не слушать предков наших и апостола? Галактион! В баню!

— Платон — в снег! — воскликнул Галактион.

Они ударили по рукам в том, что повторят виденное апостолом жаровое и ледяное омовение славян, и вот — в ближайшую субботу свершилось великое событие: Галактион вошел в баню. От температуры и пара хотел выскочить обратно. Но было же рукобיתье, он превозмог себя и выдержал. Платон его крепко отхлестал. Но пришла пора страхования и для Платона. Галактион повел его в снега огорода и повалил в сугроб. Закидал снежком. Платон героически вытерпел насильственное охлаждение, потом вскочил и велел Галактиону вернуться в баню. Сам бежал туда вприпрыжку. И так поддал на радостях, что Галактион запросил пощады. Залег на пол, решив отлежаться, но Платон требовал, чтобы тот лез на полók. И опять брался за веник, в коем березовые ветви были перемежаемы шихтовыми. Хлестал неистово. Галактион просил пощады, но Платон кричал:

— Я не до умертвия. Мы выполняем благословение апостола. Терпи!

Затем же, когда настала очередь снежной купели, Галактион опять отыгрался. С наслаждением катал соседа по снегу, будто снежную бабу лепил. Тот начинал привыкать к перепадам температуры, а они были градусов в сто, не меньше, но все-таки вырвался и вновь кинулся в свою обожаемую баню. Куда велел снова идти и Галактиону. И таковое действие они свершили еще раз, то есть троекратно. Чувствовали себя после бани превосходно, вышли по два самовара.

А далее? Далее было строительство новой бани. Фундамент — огромные валуны, а на сруб не пожалели лиственницы, никогда не гниющей. Да, строили на века. А печь в бане не клали из кирпичей, а били из глины с примесью песка и опилок. Это такая технология, которую надо долго объяснять, скажу одно: это не печь, а монолит, в ней металл можно плавить. Поставили баню, а уж белый снег Господь даром посылал. И печь в бане, и сама баня дожили до Наполеонова нашествия, до Крымской войны, до революции, перетерпели войну Отечественную и добрались до перестройки. Разве можно было вынести и пережить русским людям такие нападки на матушку Русь без такой бани? Бессчетное количество людей в ней здоровье поправили.

И я в той бане был, и в бане той парился. И на снег под звезды выходил, и в сугробы погружался. И снег от моего раскаленного тела до самой

земли проседал, и вновь входил я под жаркие своды платоновско-галактического чуда. Но как происходило сие, об этом пусть мои пра-пра и так далее внуки своим пра-пра рассказывают.

Спасибо великое святому апостолу Андрею, Всехвальному, Первозванному. И за баню, и за дедушек, и за внуков, и за Русь Святую.

ТЫ РУССКИЙ? — ЗНАЧИТ, ТЕБЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕХ

Сильных, умных, самостоятельных не любят. Все же хотят быть сильными и умными. За что ж русским даны сила и ум? Они же и такие, они и сякие. И какая еще нация, кроме русской, выдержала бы многовековое глумление над собой?.. То ли мы привыкли, то ли считаем, что так и надо, и за издевательства не мстим. Это уж когда явно начинали приставать и вторгаться в русские пределы цивилизованные дикари Европы и Азии, тогда приходилось им давать по морде для образумления. И тут же их и жалеть. Кто еще такой в мире, как русские? Жалеть врагов? — Да, жалеем. Но дожалелись до того, что уже ненависть к России поселилась в ней самой. Россию ненавидят те, кому она дала приют, образование, работу. Всегда русским было труднее, чем инородцам, пробиться в жизни. Попробуй еврея в вуз не принять, и не пробуй, и без тебя примут. А русского оттолкнут и дальше пойдут. Это отпихивание я испытывал многократно. Но, как русский, не обижаюсь совершенно. Те, кто отпихивал, где они? Всегда ощущал я в своей судьбе некую руководящую силу. Даже и называл ее строчками из стиха Бунина “Некий норд моей судьбою правит, он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: “Не то”. Этот “некий норд”, воцерковившись, я стал именовать Господом.

Идеологи стеклянного телепространства внедряют в умы глотателей телепищи образ России совсем не русский. Смелые, честные, жертвенные русские люди изображаются трусами, ворами, стукачами. Особенно усердствуют киношники. Особенно это раскручивается в показе советского периода истории России. Я его свидетель, я выросал в советское время, создался в нем как личность, и меня глубоко оскорбляет тьяквань либеральных писак и либеральных радио- и телетрепачей. Страдание мое в том, что ими воспитаны такие потребители журнальной, газетной, радио- и телепищи, что читатели и зрители, как наркоманы, уже не могут без нее, непрерывно ее глотают, койкак переваривают и испражняются ее остатками на историю Отечества.

Русские — трусы? Ну, ребята... Непрístupный Измаил брали, конечно, нерусские. Шестая рота псковских десантников могла уклониться от боя с бандитами, которых было многократно больше?..

Русские — воры? Да в России ли вы живете? Кто вас обирает, обкрадывает, кто придумал воровство приватизации? Лично я выросал среди селений, избы которых не знали замков. Войдешь — хозяев нет, напьешься воды и идешь дальше.

Стукачи? Нет, во все времена внедрялись в русскую жизнь чужаки. Слухачи, доносчики сочиняли нужные властям сведения на того, на кого указывали. Почему же Ленин и Троцкий после захвата России торопливо заставляют еврейских комиссаров и вообще евреев брать русские фамилии, почему же убийственные декреты об уничтожении священства и русской интеллигенции подписывает русский выкрест Калинин?

Увы, не всегда у нас в первых лицах России были Александры Невские. Но не хочу и против любых властей ничего говорить. Чтоб было понятнее, спрошу, нужна ли власть? Да, нужна. Пусть плохая, но она лучше анархии. Но чтобы трястись перед ней как осинке? Ни за что. Лишаете меня должностей, привилегий, плевать! Отлично помню, не выдумал же я, переделку многих официальных лозунгов и идеологических штампов. Сталин сказал: “Жить стало лучше, жить стало веселее”, тут же мгновенно пошла в разговоры переделка: “Жить стало лучше, жить стало веселее, шея стала тоньше,

но зато длиннее”. Конечно, не орали на площади, но в общении меж собой такие шутки были повсеместны. Или этот масонский лозунг, мечтание большевиков о мировом пожаре: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, и все знали его продолжение: “...ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь!”. А уж про серп и молот шутки были похлеще. “Это молот, это серп, это наш советский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно... ничего не получишь”. Или элегическое: “Ну, зачем, скажи мне, Петя, если так живет народ, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед?”

А частушки? Боже ж ты мой! В какие же, по мнению либералов, глухие времена культа личности слыхивал я и певал лихие куплеты, например: “Ленин Троцкому сказал: “Пойдем, милый, на базар, купим лошадь карию, накормим пролетарию”. Или: “На бочонке я сижу, под бочонком кожа. Сталин Троцкому сказал: “Ты жидовска рожка”. Кожа тут, конечно, только для рифмы. Или предсказание: “Эх, кАлина, эх, МАлина, убили Кирова, убьют и Сталина”.

В открытую анекдоты о властях начались... да, со Сталина. И частушка была, которую, думаю, вождь знал: “Сидит Гитлер на березе, а береза гнется. Посмотри, товарищ Сталин, как он навернется”. Это из серии: “Сидит Гитлер на березе...”, дальше, например, — “плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком”. А уж про Никиту анекдоты травили по всем райкомам и обкомам. Он их и сам любил. К нему часто ходил первый председатель Союза писателей России Леонид Соболев, он перед визитом требовал у подчиненных вооружить его анекдотами: “К Никите иду, с порога спросит”. Брежнев умирал под анекдоты о своем маразме. “Крупская спрашивает: “Леонид Ильич, вы помните моего мужа?” — “Товарища Крупского? Ну, как же, как же”. А уже сменяющиеся часто Андропов, Черненко и анекдотов не заслужили. Нет, вспомнил один про Андропова. Ему докладывают: “Мы создаем камерный оркестр. — На сколько камер?” А Ельцина и Горбачева и без анекдотов за правителей не считали. Соотношение личности и истории надо выверять применительно к духу народа.

Недавно, на Северном Кавказе, один горец говорил мне: “Люблю тебя, другому не скажу. Вы, русские, всегда не умели жить, и всегда вами командуют. То варяги, то монголы, то немцы, то большевики, то коммунисты, сейчас евреи. А вы хороший народ, мы вас выручим, будет большой, во всю Россию, халифат”.

Кавказец точно заметил: мы не то чтоб не умеем, но не любим командовать. Даже начиная со школы. Сидишь на классном собрании и под парту лезешь, чтобы никаким звеньевым не выбрали. Но что сие означает? Когда надо — у нас и Суворовы находятся, и Ушаковы, и Нахимовы, и Денисы Давыдовы.

НА ПРИЧАЛЕ В ХАНОЕ

Американским воякам во Вьетнаме привезли для их обслуживания проституток. Целый корабль. Корабль потом понадобился для вывоза наворованного, а проституток просто оставили. Они быстро оголодали, оборвались. Предлагали себя вьетнамцам, те их гнали от себя, били. Наши с ними тоже не общались, но по-человечески, по-русски, жалели. Давали еды. Даже заранее побольше готовили, зная, что проститутки придут.

— И вот интересно, — говорил мне свидетель этого факта, — ведь были же среди них и привлекательные, на все готовые, но представить, чтобы вот я или вообще любой из нас позарился бы на них после американцев, ты что!

Тут есть над чем подумать.

ВЫПАЛО ИЗ БУМАГ

В завалах записей, которые уже бесполезно разбирать, все же встречаются иногда какие-то листочки, которые немного жалко. Вот этот листок, совсем истертый. Он — один из нескольких, которые исписал большим белым стихом об ораторах перестройки. Помню позыв к этому стиху — по телевизору настойчиво показывали “Броненосец “Потемкин”, который, как представили вначале, “является лучшим фильмом всех времен и народов”. Прямо Сталин какой-то киношный. Фильм, конечно, более чем простенький, заказной, лизоблюдский перед большевиками. Ну, лестница, ну, коляска. Но стал читать титры. Интересно. Матрос говорит священнику: “Отойди, халдей”. Далее омерзительный кадр — православный крест втыкается в палубу. Но зачем я о фильме? Титры в нем меня насмешили. Цитирую: “Охрипшие от непрерывных речей глотки дышат трудно и прерывисто”. Я без сожаления переключился на другие телеканалы. И на всех были такие же революционные глотки. Особенно надрывались и учили нас жить приехавшие миссионеры. Ради улыбки я тут же и написал стих “Охрипшие глотки”. Жаль только, сохранился один еле читаемый (вытертый карандаш) отрывок — листочек. Может, когда найдется и остальное.

*Все по кругу кричат — выражаются, обсуждают, склоняют Россиюшку.
И кричат тут писцы израИльские. К ним пристали, примкнули, примазались
Удалые спецы словоблудия, докторанты школ демагогии, и схоластики,
и софистики,*

*Ай, велики мужи болтологии. Ай, любители все словопрениев.
Хлебом их не корми, дай трибунничать. Дай ты им дураков околпачивать,
На критическом вече покрикивать и барыш на сем крике наращивать.
Вот зачали зомбировать зрителей языков своих долгодлинием,
Да заморских мозгов производством. — Что ни брякнут, всё им мы не по
сердцу,
Что ни сбредут — всё против России то.
Прибежали хохлы им подвякивать, приезжали поляки подвизгивать...*

Пустьячок, конечно. Но уж очень тогда, в конце 80-х, начале 90-х, навалились на нас общемировые ценности. А по мне, где общемировое, там и масонское, а где гуманитарное, там нравственный фашизм. Это же всё без Бога, а значит, бесчеловечно.

ВЕЧЕР НА ДВОРЕ

Последние десятилетия меня постоянно не то чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я, по слабости своей, как писатель сдался перед заботами дня. И не то чтоб исписался, а весь как-то истратился, раздергался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседаний-пленумов-форумов, на совершенно немислимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию. Разве такая жизнь помогает спокойствию души, главному условию сидения над бумагой?

Немного утешала мысль, что так, по сути, жили и сотоварищи по цеху. Слабое утешение слабой души. Всё почти, что я нацарапал — торопливо, поверхностно. Когда слышу добрые слова о каком-либо рассказе, написанном лет сорок назад, кажется, что говорят так, жалея меня, сегодняшнего. Похвала давно угнетает меня. Быть на людях, быть, как говорят, общественным человеком очень в тягость. Ощущение, что поверили не мне, а чему-то во мне, что могло им послужить. Вот обманываю ожидания.

Ну, чего теперь, поздно. Во всех смыслах: вечер на дворе. Унывать — грех. Живу с Господом. Но мог бы жить с Ним и без литературы. Она что — миссия?

Умение писать — средство передачи сведений. А посягнула на жизнь души. Еще и уверяю себя и читателей, что литература — способ приведения заблудших к Богу. А сам я не заблудший в этом выражении? Кого надо, Бог и без меня приведет.

В самом деле, зачем литература? Есть же Евангелие. Творчество — гордыня, даже Богоборчество. Как и вся цивилизация. Один Творец — Господь.

Нечего сказать, веселые мысли. Это я использую данную мне свободу выбора. Но когда я был совсем крохотным и рассуждал по-детски, кто же мне внушил мысль о писательстве? Отец гордыни диавол. Скольких он погубил мечтами о славе, о деньгах. И разве я не мечтал о славе? Еще как. “Желаю славы я, чтоб именем моим...” и так далее, так что не один я такой. Но это отрочество, юность, потом пошло на поправку, ибо жизнь двигалась и убеждала в бесполезности известности. И прошла. И нет же во мне ощущения, что прожил зря. Плохо, грешно, торопливо, да. А могла быть другая жизнь? Могла. Но что себя тиранить? Не ушел в монастырь — уже семья была, ее любил, не перестал писать — уже привык и, значит, Бог так судил. Так что доживай и не мучайся. Выяснение отношений ухудшает их, а самокопание угнетает.

То, что пытаюсь выразить, поможет высказать утренняя молитва, в которой слова прямо ко мне относящиеся: “Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане лъстивому”. А уж и поработал, аз грешный, этому лъстивому. Когда, в чем? Да во всем. Но книга моя — не церковь, читатель не священник, а я не на исповеди. Грешил и цеплялся для оправдания за слова “все грешат”.

Но то-то и оно, что не все, то-то и оно, что за других с нас не спросят, спросят отдельно с каждого. “И другие грешили? А что тебе до других. Их тоже спросят. Ты отвечай, почему именно ты грешил?”.

В НИКОЛЬСКОМ

Вот вырвался в Никольское. Тридцать пять лет назад, когда впервые его увидел, было село, сейчас часть города, называется это: зона ближайшего Подмосковья. Спасли мои полдомика соседняя церковь и кладбище при ней, спасибо могильным крестам.

И уже лет двадцать в округе режут бульдозеры, ухают ночами забивание свай, горят в ночи огни высоченных кранов, рвут тишину и портят воздух цементовозы. Но другого пристанища для убегания из нервной трясушки Москвы на день, на два уже не будет. Тут и скворчки мои, тут и цветы-кусты, тут и баня. Тут и диван. На котором лежу и протягиваю наугад руку к книжным полкам. Северянин. Никак не соберусь написать о нем, уже и не соберусь — по слабости своей наобещал статей и предисловий. “Когда мадеру дохересит... когда свой херес домадерит”, умел Северянин заставлять существительные работать.

И вот в его стиле написалось и у меня такое на тему своей жизни:

*Как будто и не жил, натурил
И свое счастье упустил.
Сам виноват — литературил:
Рассказничал, миниатюрил,
Рецензичал и предисловил,
И постоянно празднословил,
Статейничал и повестил,*

*И ни семьи не осчастливил,
И состоянья не скопил.
Что ж, присно каюсь — сам виновен,
Что гибну под лавиной строк.
Но, может, путь мой был духовен,
И, даст Бог, оправдает Бог?*

Вот только на это и надеюсь, на оправдание. Жизнь моя так крепко срослась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве. Но так может писать и историк, и философ, а я-то числюсь по разделу изящной словесности. Да, кажется, есть чем отчитаться перед Всевышним: боролись за чистоту российских вод, за спасение русского леса, за то, чтоб не было поворота русских рек на юг, за преподавание “Основ православной культуры”... боролись же! Крохотны результаты, но уходило на борьбу и здоровье, и сама жизнь. Обозначено же в алтаре храма Христа Спасителя то, что и аз грешный начинал возрождение его. Вот и награда Церкви — орден. И можно внукам показать.

Но и что? И золотятся купола, и издается Священное писание, и труды Отцов, и все доступно, а Россия гибнет. Нет, нет нам оправдания. Мне особенно.

Сын невенчанным живет, это ли не страдание, это ли не грех!

РАДИ УЛЫБКИ

Служил я три года в нашей победоносной Советской армии, и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и старики, были и салаги, естественно. Но чтобы старослужащие издевались над новобранцами — никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона. Вот составляю я наряды, решаю, кого куда послать. И, конечно, не могу же своих одногодков на третьем году службы загонять в кочегарку или судомойку. На это салаги есть. И это, согласитесь, более чем естественно.

Но одну весьма милую армейскую шутку вспомнил, когда дети спросили: А какие у вас были раньше первоапрельские шутки? Тут я строго ответил, что первое апреля — это начало недели перед Благовещением, это время Великого поста, какие тут шутки? Но вспомнил розыгрыш из армейского времени и с удовольствием рассказал. И коротко запишу.

В дивизион осенью пришло пополнение — хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун, Титюра, Балюра, Мешок, Муха, Тарануха, Поцепуха. Так я их тройками и запоминал, так и в наряды наряжал. Нормальные хлопцы. Одним только от наших, вятских, отличались — сильно любили поощрения.

— Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.

— И шо ж с того? — спрашивал я.

— Тады же ж мабуть благодарность перед строем треба размовить.

— Мабуть иди, — сурово говорил я. — Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тобі треба розжувати? На твоей ридной мове?

И вот мои сержанты-третьегодники (мы служили по три года) задумали на первое апреля нижеследующую шутку.

Они пошли, тайком от меня, в штаб к знакомой машинистке, встали на колени и умолили ее напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим первогодкам. “В связи с тем, — значилось в приказе, — что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в воинской и политической подго-

товке, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе”. Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин и Рудик Фоминых из Вятки, уговорили. И листок, как обещали, потом вернули.

Звание ефрейтор — первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант — две лычки, просто сержант — три лычки, старший сержант — одна широкая и так далее. Прапорщиков при нас не было.

Обычно после ужина я убегал в библиотеку, оставляя дивизион на дежурного. Если что, меня всегда знали, где искать. Сержанты привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили, что поступил приказ об очередном присвоении воинских званий, что его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому оглашению подготовиться, то есть пришить лычки. Тем, кому звания присвоены.

— С приказом можно ознакомиться в Ленинской комнате на Доске почета.

Почему на Доске почета, а не у тумбочки дневального, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.

Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Парни мои объясняли, что это такая особая честь нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай.

Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построение.

Никто не заметил, что к ночи приказ исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нем и понятия не имел.

Вообще, я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. И не подвели. Утром, после завтрака, перед построением сержанты вызвали меня в Ленкомнату и ввязали во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. Время летело. Я посмотрел на часы и оторвался от бумаг:

— Крикните дежурному: выходи строиться.

Вскоре дежурный заскочил в дверь:

— Старшина — комдив!

Выйдя на крыльцо, я привычно и мгновенно посмотрел на выровненные по белой линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам и скомандовал:

— Дивизион, р-р-р-р!... Ир-но! Равнение напра-о!

И четко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.

— Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен!

И увидел вдруг взгляд подполковника. Он смотрел с каким-то недоумением, но не на меня, на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и... и чуть устоял — в первом ряду стояли сплошь ефрейтора. Все в новехоньких погонах, все очень радостные. Они были готовы гаркнуть: “Служим Советскому Союзу!”.

— Это кто у тебя в строю? — ласково спросил комдив.

— Понятия не имею, — искренне ответил я.

— А сам ефрейтором быть не хочешь? — поинтересовался комдив.

А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов, и “ефрейторов”. Все честно говорили, что был приказ. Был. “Вот утюточки, урамочке”. И все это подтверждали.

Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление или тому подобное. Дежурному сержанту вклеили внеочередное дежурство, только и

всего. Это ж в тепле, в казарме — это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад ефрейторскому званию и тому, если с меня снимут хомут старшины. Тем более, у меня шел последний год службы, я начинал готовиться к приемным экзаменам в институте.

Мы думали, что и “ефрейтора” не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. И то сказать — только что приятно ощущали на погонах лычки — и нет их, сами же и спарывали. Даже сфотографироваться не успели.

— Кляты москали, — возмущались они.

Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище возвышает. То все вятский был, а тут уже и москаль. Не так себе. Такое было армейское первое апреля.

НЕ О ТОМ ДУМАЮ

В старости я дождался до унижительного состояния постоянных мыслей о том, где взять денег. Журналы, газеты, меня печатающие, гонораров не платят, сами нищие. Может, тысячу в среднем в месяц “Русский дом”, и всё. Радио, телевидение — от них ни копейки. Какие-то грошики подкинула пара сайтов, и всё. Последние книги не дали почти ничего.

Проснулся, лежу и соображаю: а ведь я в советские времена был как фабрика для своего государства. Такие доходы ему давал. Например: идет книга, тираж 50, 100, 150, бывало и по двести, и по триста, и по пятьсот тысяч экземпляров тираж. Мне дают за авторский лист рублей триста, может, больше, тут сложная механика расчетов, но платили же. Но мой гонорар был ничтожен по сравнению с деньгами, которые получали государственное издательство и государственная книжная торговля. А “Роман-газета”? Там вообще тиражи зашкаливали. Допустим, стоит выпуск для читателей рубль, а их откатали три миллиона. Автору сунут пять тысяч, и гуляй. Но пять тысяч — это очень неплохо, ибо картошки килограмм стоил десять копеек, а семью на юг повезти, даже и с тещей, можно было и за тысячу.

Так вот, теперь это же, пусть видоизмененное в области правления, государство оказалось очень неблагодарным. Я его озолотил, а оно меня обездолило. Пенсия ничтожна, хотя стаж, даже официальный, при выходе на нее у меня был сорок пять лет, и так мизерна, что стараюсь в сберкассе не идти хотя бы месяца два-три, чтоб чего-то подкопилось. А на что живу? Сам не понимаю. Пригласили куда-то, читал лекции, чего-то заплатили, так примерно. На шее у жены сижу. Тоже унижительно. Идешь к внукам: “Дедушка, а ты что нам принес?” И в самом деле хочется их всегда чем-то порадовать.

О-хо-хо. Задремываю. И в тонком сне представляется вдруг, как меня объедают могильные черви. Начиная со ступней и продельвая в них бороздки. Освобождают мой скелет от мягких тканей. Даже, кажется, переговариваются и советуют друг другу, где вкуснее объедать. И ловко же движется у них дело.

Просыпаюсь, вначале в ужасе крещусь, а потом думаю: “Слава Богу, вот ведь как благотворно меня Господь поправил, вот ведь о чем надо думать, а ты о деньгах да обидах на государство, оно столько раз уже умирало и отмирало, а Россия жива, жива твоя душа. Слава Богу!”

А о книгах тоже договарю. Бывал в книжных хранилищах, видывал книги, в которых многоходовые катакомбы сделали очень живучие книжные черви. Небось, они, черви, и книжные и человеческие, встречаются на своих симпозиумах и обмениваются опытом поедания. И авторов, и их произведений.

ПЕТУШИНЫЕ КРИКИ

Все люди, все до единого, те, кто вышел из сельской местности, а теперь живущие в городах, вспоминают детство. Оно им снится, о нем они любят говорить. Рыбалка, река, сенокос, лыжи зимой, санки. Сияние полной луны над серебряным снежным покровом. Запах дыма от русских печей, что говорить!

Один большой начальник особенно тосковал по петушину пению. Дети его просили купить им попугая. Он купил. Попугай оказался очень способным к обучению. Когда начальник поехал в отпуск навестить старуху мать, то взял с собой клетку с попугаем. В деревне он поместил попугая в курятник, и попугай в два дня выучился кукарекать.

И теперь он живет в Москве и кукарекает. Вначале мешал спать, ибо, по примеру сельских своих учителей, кричал на заре, и его клетку стали накрывать. Тогда он приспособился кричать днем и вечером. Так и живет. Кому-то напоминает деревню, а кому-то евангельского петуха, который дважды успел прокричать в то время, в которое апостол Петр трижды отрекся от Христа.

Конечно, наш попугай, играющий роль петуха, будет кукарекать долго и обязательно переживет своих учителей, ибо им до старости дожить не суждено.

ГРЕЧИХА

Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.

Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воеет, истертые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.

И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречи-хи. И запах, который никогда не вызвать памятью обоняния, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.

Огромное поле белой ткани, и поперек продернута коричневая нитка до-роги, пропадающая в следующем темном лесу.

РЕКА ЛОБАНЬ

До чего же красива река Лобань! Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать-и-мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганной и жметя к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поит корни могучего соснового бора.

Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга, а коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно, зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что прямо чуть не засыпаю. Слышу — к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву.

Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову и стоит неподвижно, и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день, ей лучше послушать говор реки.

Из леса с того берега выходит к воде лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается. И к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но

лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде. Она после маминого молочка не очень ему нравится, он фыркает. Все-таки он немного пьет и замечает корову. А корову, видно, кусает слепень, она встряхивает головой, колокольчик на шее брякает, лосенок пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие в иле ноги и уходит в кусты.

Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок.

Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах.

Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапогов сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком.

Надо идти вверх и вверх по Волге — матери русских рек, потом будут ее дочки: сильная суровая Кама и ласковая Вятка, а в Вятку впадает похожая на Иордан река Кильмезь, а уже в Кильмезь — Лобань.

Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать-и-мачехи, через сосновые боры, через хвойные леса, вы слышите ветер в листьях берез и осин и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и всё. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той, близкой, стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее.

И редкие птицы будут лететь по середине Лобани и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду.

Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода в берегах, только родина во все стороны света, только счастье, что она такая красивая, спокойная, добрая.

И вот такая течет по ней река Лобань.